

Алёна Мельникова

Я ПОМНЮ, ЧЕМ ЭТО КОНЧИТСЯ



Алена Мельникова

Я помню, чем это кончится

«Автор»

2026

Мельникова А.

Я помню, чем это кончится / А. Мельникова — «Автор», 2026

Ольге Крайновой сорок восемь. Главный бухгалтер, развод за плечами, кредит за квартиру бывшего. Она засыпает над годовым отчётом — и просыпается в общежитии пединститута. Первое сентября 1997 года. Ей девятнадцать. Она помнит всё. Через семьдесят два дня сгорит дом тёти. В марте отца сократят с комбината. В августе рубль рухнет вчетверо. А в мае девяносто девятого у ворот рынка убьют охранника Виктора — того, кому она когда-то сказала «мне с бандитами не по пути» и вышла за «надёжного». Знание будущего не делает богатой: у студентки нет ни капитала, ни кредита, только стипендия и место за тёткиным прилавком. Оно даёт время — успеть к людям. И привычку считать: дни, деньги, чужие обещания. В этот раз Ольга не скажет «не по пути». Но каждое спасённое событие сдвигает остальные, и однажды она перестанет знать, чем это кончится. Второй шанс, возвращение в своё прошлое, адекватная героиня, девяностые. Без магии. 16+.

© Мельникова А., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Семьдесят два дня	5
Глава 2. Двести тридцать	11
Глава 3. Шесть остановок	17
Глава 4. Не горит	22
Глава 5. Двадцать долларов	26
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Алена Мельникова

Я помню, чем это кончится

Глава 1. Семьдесят два дня

Я проснулась от того, что кто-то вытаскивал из-под моей головы подушку.

— Оль. Оль, ну отдай, это моя. Твоя на полу валяется.

Голос был Ленкин. Ленки Сомовой, с которой мы не виделись с две тысячи пятого, когда она уехала в Самару за вторым мужем и перестала отвечать на открытки. Я открыла глаза и увидела потолок — побелка, трещина в виде Италии, — и узнала эту трещину. Я смотрела на неё с первого курса, а потом двадцать девять лет она ни разу мне не снилась.

Ленка стояла надо мной в розовом халате и с пейджером на поясе. Пейджер был «Моторола», с зелёным экранчиком. Айфоном она потом будет гордиться меньше.

— Какое сегодня число, — сказала я.

Вышло без вопроса, тем голосом, каким я говорю Людочке из отдела закупок, когда она в третий раз приносит мне накладную без даты. Ленка посмотрела на меня странно.

— Первое. Сентября. Ты чего? Линейка в десять, Пронин сказал, кто не придёт — отработка.

Первое сентября. Я села. Руки были не мои — тонкие, без кольца, с обгрызенным ногтем на мизинце, который я отучила себя грызть в двадцать пять. На тумбочке лежала книжка Гроссмана с закладкой из трамвайного билета и стоял стакан с засохшей гвоздикой. Гвоздику подарил Игорь, в августе, на вокзале. Это я помнила, и лучше бы не помнила.

— Лен, — сказала я. — Год какой.

— Девяносто седьмой, — сказала она медленно, как говорят с пьяными. — Оль, ты заболела? У тебя лоб...

Она потянулась ко лбу. Я перехватила её руку — машинально, как перехватываю у Людочки накладную, — и отпустила.

Девяносто седьмой. Первое сентября. Я закрыла глаза и посчитала, потому что считать — единственное, что я умею делать в любом состоянии: двенадцатое ноября минус первое сентября. Двадцать девять дней сентября, тридцать один октября, двенадцать ноября. Семьдесят два дня.

Семьдесят два дня до того, как сгорит тётин дом на Заречной.

— Ленка, — сказала я. — Вторая пара какая?

— Матан. — Ленка прижала подушку к животу, чтобы я не передумала. — Оль. Ты правда какая-то... взрослая.

Я встала. Пол был холодный, линолеум с дыркой у двери, и я обошла дырку, не глядя, потому что ноги помнили лучше меня.

* * *

Ленка ушла в душ с полотенцем на плече и мыльницей в руке и хлопнула дверь: дверь у нас закрывалась только с хлопка, иначе отходила, и в щель тянуло жареным луком с общей кухни. Я осталась одна, села на кровать и начала с последнего, что знала точно.

Последнее, что я знала точно, было такое. Двадцать шестой год, конец октября, отчёт за девять месяцев. Восьмой час вечера, в бухгалтерии никого, кроме меня и Людочки, которая пришла с актом сверки и третий раз не могла найти в нём ошибку. Левая рука отяжелела и перестала слушаться. Я ещё успела нажать «сохранить». Людочка кричала в трубку адрес и

путала номер дома, и я хотела её поправить — Ленинградская, сорок, а не четырнадцать, — и не смогла открыть рот. Потом был потолок «скорой», потом потолок приёмного отделения, белый, ровный, без единой трещины, а потом этот, с Италией.

Зеркало в нашей комнате было одно, на внутренней стороне дверцы шкафа, и помещалось в нём лицо и половина плеча. Я открыла дверцу.

Из зеркала смотрела девица с чёлкой, обстриженной, судя по всему, маникюрными ножницами и вслепую. Чёлку я помнила: стригла её сама, тридцатого вечером, а потом полчаса сидела в умывалке на подоконнике, чтобы никто не видел. Прыщ на подбородке не помнила. Брови свои, нещипанные, широкие — в двадцать шестом за такие платят мастеру, а в девяносто седьмом меня за них звали Брежневым. Я потрогала щёку и проверила пальцы: не крем ли. Крема на пальцах не было.

Мне было девятнадцать, и мне было сорок восемь. Обе цифры сходились, а так не бывает: когда в балансе на одном месте стоят две суммы, одна из них ошибка, и я двадцать лет зарабатывала тем, что находила какая. Я закрыла дверцу шкафа.

Я попробовала то, что во сне не получается: взяла Гроссмана, открыла на закладке и прочитала одну строчку два раза. Во сне буквы плывут, и на второй раз выходит другое. Эти стояли на месте. Закладкой был тот самый трамвайный билет — счастливый, я его не съела, пожалела. Сумма первых трёх цифр равнялась сумме последних. Я пересчитала и это.

Ладно. В двадцать шестом меня никто не ждал. Мамы не было два года, папы — пятнадцать, детей у нас с Игорем не случилось, а сам Игорь седьмой год жил с секретаршей со своей автомойки. Хватилась бы меня Людочка — в понедельник, когда некому подписать акт. Если это сон перед смертью — пусть будет длинный. Если не сон, то у меня семьдесят два дня, и тратить их на истерику я не собиралась. Истерику я закатила один раз в жизни, в две тысячи девятнадцатом, когда Игорь вынес из квартиры телевизор и сказал, что это его телевизор, — и даже тогда я сначала нашла чек.

Сумка висела на спинке кровати — джинсовая, с нашитым жёлтым смайликом. Я вытряхнула её на одеяло. Зачётка. Проездной за август, уже бесполезный. Ключ от комнаты на шнурке. Помада «Ruby Rose», почти до донышка. Кошелёк: тридцать семь тысяч пятьсот — две десятки, пятёрка, тысячные и одна мятая пятачок. Я разгладила купюры ребром ладони, сложила по номиналу и посчитала. Шесть долларов с небольшим. Неделя, если не обедать.

И общая тетрадь в клетку, с котёнком в корзинке на обложке.

Спереди были конспекты: матан, аналитическая геометрия, методика — почерком круглым, с хвостиками, такой я в двадцать шестом и на подпись бы не допустила. А на последней странице, с конца, был столбик. Его я не помнила совсем.

«Игорь.

14.06 — бенз. — 50

22.06 — кассеты 2 шт. — 60

03.07 — "Лагуна" — 40

19.07 — Серёге за видак (?) — 80

Итого: 230».

«Итого» было подчёркнуто двумя чертами. Как положено.

Я сидела и смотрела на эти две черты. Я всегда думала, что считать меня выучила Тамара Григорьевна в «Волгахимснабе», на первой работе, линейкой по пальцам за каждую пометку в кассовой книге. А оказалось, в девятнадцать я уже всё посчитала, подвела черту и не попросила обратно ни рубля, потому что неприлично. Неприлично мне было ещё лет двадцать. Я перевернула тетрадь, нашла чистый лист после аналитической геометрии и разлиновала его на три графы: дата, что, сумма.

«12.11.97, ср. — Заречная, 17. Тётин дом. "Ветерок".

Январь 98 — папе перестают платить.

Весна 98 — комбинат продают. Папу сокращают.

17.08.98, пн. — доллар. Всё.

Май 99 —»

Против мая я ничего не написала и оставила графу пустой: документы по ней ещё не пришли.

Ниже, через строчку: «Лапин И. — не выходить». И обвела рамкой.

* * *

На вахте сидела Зоя Михайловна.

Ей было шестьдесят, мне тогда казалось — сто. Сейчас я видела женщину на двенадцать лет старше меня, с пучком, в вязаной кофте поверх халата и с журналом, куда она записывала всё: кто пришёл, кто ушёл, у кого гости, у кого пахнет. В девятнадцать я проходила мимо этого журнала по стеночке. В двадцать шестом году у меня в подчинении было одиннадцать человек, и трое из них были Зоей Михайловной, только помоложе.

— Крайнова. — Она не подняла головы. — Холодильник в триста четырнадцатой чей?

— Сомовой.

— С сентября за электроприборы — пятнадцать тысяч в месяц. До пятницы. Или выношу.

Пятнадцать тысяч — два с половиной доллара, в двадцать шестом я бы из-за такой суммы шаг не сбавила. Остановило меня слово «выношу». Зоя Михайловна произнесла его как уже сделанное.

— Так, давайте по порядку, — сказала я. — На основании чего пятнадцать тысяч? Приказ ректора? Покажите приказ. Кто принимает деньги, кто выдаёт квитанцию, куда они приходятся? Если квитанции нет, то это не плата, а...

Я замолчала. Слово было «поборы», и я его не сказала, но оно осталось лежать на журнале, и Зоя Михайловна его прочла.

Она подняла голову и посмотрела поверх очков, без злости, прикидывая, сколько с меня выйдет. Тем же взглядом она в первой моей жизни встречала мальчишек, которые лезли в окно второго этажа после отбоя.

— Приказ ей, — сказала она. И крикнула через плечо, в каморку за вахтой: — Михалыч! В триста четырнадцатую. «Морозко» вниз, в кладовку.

Из каморки вышел Михалыч, в майке и с отвёрткой, и пошёл к лестнице, даже не спросив, какой «Морозко».

— Подождите, — сказала я. — Я заплачу. Сейчас.

— Поздно. — Зоя Михайловна уже писала: «314 — холодильник — изъят — по требованию Крайновой». Строчку я прочла вверх ногами. — Сомова пусть сама приходит. С пятнадцатью. А ты, умная, иди на линейку. И в одиннадцать двери закрыты, хоть с приказом, хоть без.

Я пошла на линейку. В сорок восемь лет этот спор я бы выиграла: Зоя Михайловна сама принесла бы мне квитанцию на бланке и спросила, не надо ли чаю. Тон у меня остался прежний, а голос под него больше не подходил, и в девятнадцать я проиграла Ленкин холодильник вместе с Ленкиным кефиром. На лестнице за спиной Михалыч уже стукнул «Морозко» о перила.

* * *

Пединститут стоял на площади Свободы, жёлтый, с облупленными колоннами. В двенадцатом году колонны покрасят в персиковый, и весь город будет смеяться.

Перед колоннами стоял весь институт. Пронин говорил в микрофон, микрофон фонил, и на каждом «дорогие первокурсники» у меня сводило зубы. Я встала с краю, у клумбы с бархатцами, и смотрела на лица.

Вон Светка Кулагина с филфака, в белых колготках, — откроет в двухтысячных салон штор, прогорит, будет продавать косметику по каталогу и звонить мне раз в год с одним вопросом: не нужна ли мне косметика. Вон Галина Фёдоровна по методике, с гладиолусами, — я была на её похоронах в шестнадцатом, нас пришло четверо. Они жмурились на солнце, переминались с ноги на ногу, и про каждого, на кого я смотрела, я знала, чем кончится.

Игорь стоял у третьей колонны с ребятами с пятого курса. Красивый, ёлки. Я забыла, какой он был красивый, — в последние годы помнила другое. Светлый свитер, волосы назад и улыбка, от которой у первокурсниц в первом ряду делались одинаковые лица. Он увидел меня, махнул рукой и показал на часы: мол, потом. «Потом» у него было всегда.

Я ушла, не дождавшись конца.

* * *

Четвёрка шла от площади Свободы через Северный рынок до Заречной, и тётя Валя так и жила на одном трамвае: на одном конце — дом, посередине — работа. Я ехала стоя, на задней площадке, и смотрела в окно. На месте супермаркета у моего дома стоял гастроном «Волжанка», на месте банка — «Ремонт обуви», на месте торгового центра — пустырь с собаками.

Кондукторша — толстая, в мохеровом берете, хотя было двадцать градусов, — оторвала мне билет за тысячу. Билет я сунула в карман не глядя.

Рынок «Северный» начинался за остановку до рынка — с бабок. Бабки стояли вдоль забора с семечками, вязаными носками, банками огурцов, и у каждой под ногами картонка. Потом шли ларьки: кассеты, сигареты, «Сникерсы», пиво в бутылках, батарейки, жвачка «Love is». Из одного ларька пели «Иванушки», из соседнего — «На-На», и посередине, где звуки сходились, выходила одна большая песня про то, что всё будет хорошо. Потом ворота, а за воротами контейнеры.

Я шла и не могла надышаться: чебуреками на прогорклом масле, турецкой кожей, вонючей, от которой к вечеру болела голова, дешёвым одеколоном, пылью, сырым картоном. В двадцать шестом году так нигде не пахнет, даже на вокзале.

Тётя Валя торговала в четвёртом ряду, контейнер сто двенадцать: свитера, куртки, детские комбинезоны на зиму и шапки, которые она называла «головные уборы», потому что так было написано на коробке. Я услышала её раньше, чем увидела.

— Женщина! Женщина, ну куда вы, это же ангора, вы такую в Москве за двести не найдёте! Сто шестьдесят — и ваша, и ещё спасибо скажете!

Она стояла на перевёрнутом ящике, в пуховой жилетке поверх кофты — тётка мёрзла всегда, даже в июле сидела в шерстяных носках, — и размахивала свитером, как флагом на демонстрации: полная, громкая, с химией, крашенной в «махакон», живая.

Я подошла и обняла её вместе со свитером.

— Оля! Ты чего? — Тётя Валя отстранилась и посмотрела на меня сверху, с ящика. — Помер кто?

— Нет.

— А чего ревёшь?

Я не ревела. Я провела пальцами по щеке — мокро. Ладно, ревела.

— Пыль, — сказала я. — Тётъ Валь, я сегодня до вечера. Можно?

— А линейка?

— Была.

— Ну тогда вставай. — Тётка прыгнула с ящика, и ящик крякнул. — Деньги — бумага, Оля, а покупатель — человек, его ловить надо, пока тёплый. Ангору не трогай, я её сама. Ты на шапки.

Я встала на шапки.

Двенадцатого ноября она выскочит из горящего дома в окно, в ночной рубашке, с паспортом в зубах, и потом будет рассказывать это со смехом, всем. Зимний товар, который она держала дома в задней комнате, сгорит вместе с домом, участок уйдёт в декабре за копейки какой-то фирме, потому что надо будет отдавать долги за сгоревший товар, с девяносто восьмого она будет мыть полы в поликлинике и всё так же говорить, что деньги — бумага, а в две тысячи четвёртом её не станет. До обеда я продала три шапки и один «головной убор» с помпоном — ту же шапку, только дороже.

* * *

В два часа тётка послала меня к воротам.

— Сходи к мальчишкам, скажи, нам опять «Газелью» проход загородили. Пусть пого-
няют. Пускай Костя, он вежливый. И кипятку мне принеси.

Она сунула мне кружку — эмалированную, с отбитым краем и петухом на боку.

Мальчишками на рынке звали охрану. Охрана сидела в будке у главных ворот: синяя будка с решёткой на окне и надписью «ЧОП "Беркут"», выведенной по трафарету, причём «Б» вышла кривая. Их было трое.

У будки стоял Костя Жарков и рассказывал анекдот. Костю я узнала сразу: он и через два года рассказывал анекдоты, и на фотографии в газете тоже улыбался — другой фотографии у редакции не нашлось. Рядом на корточках курил Рафик, тёмный, худой, и смотрел на дорогу. А третий стоял ко мне спиной и пил чай из крышки от термоса.

Он был выше Кости на полголовы. Чёрная форменная куртка, на рукаве нашивка «Беркут» — пришитая явно им самим, крупными стежками, нитками не в цвет. Коротко стриженный затылок. Анекдоту он не смеялся, только кивал, и пар от крышки шёл ему в лицо.

Я остановилась.

В первой моей жизни в октябре девяносто седьмого он предложил меня проводить — один раз, у этих самых ворот, когда я задержалась и было темно. Я сказала: «Мне с бандитами не по пути». Фразу эту я неделю придумывала, на всякий случай, и наконец пристроила. Он сказал: «Понял». И больше ко мне не подходил, даже когда я проходила мимо будки с Игорем под руку, а проходила я нарочно, весь девяносто восьмой год. Один раз только, в феврале, ко мне на остановке пристали двое пьяных, и он вышел из будки, встал между нами и простоял так, молча, пока не пришёл трамвай. «Спасибо» я сказала уже в закрывающиеся двери.

Четырнадцатого мая девяносто девятого года, в пятницу, мы с Игорем выбирали шторы в «Мебельном» на Ленина. Я выбрала зелёные. Вечером позвонила тётя Валя, и со смехом у неё в тот раз не вышло: Витю Самохина убили. И Костю. Прямо у ворот, в шесть часов, при всех. На следующий день в «Устьянском вестнике» вышла заметка на сорок строк — я посчитала, — и в ней было «заезжие», «разборка» и «следствие разбирается». Я вырезала её маникюрными ножницами. Четыре переезда она прошла со мной: в обложке паспорта, потом в шкатулке, потом в папке с документами на квартиру. Квартиру мы с Игорем брали в кредит, и квартиру он потом оставил себе, а кредит — мне.

Влюблена я в него не была, я его и не знала. Просто каждый раз, когда Игорь занимал «в последний раз» или не приходил ночевать, я доставала в голове эту заметку и перечитывала все сорок строк. Затылок этот я помнила двадцать семь лет, а лица — нет: он на меня больше не смотрел.

Он повернулся.

Виктор Самохин. Витя — так его звала тётка.

Лицо было обыкновенное. Нос с горбинкой — когда-то сломан и сросся с ошибкой. Серые глаза, светлые ресницы, на солнце совсем белые. Двухдневная щетина. Двадцать шесть лет, а у глаз уже морщины — от прищура.

Он посмотрел на меня, на кружку с петухом, снова на меня.

— Девочка, — сказал он. — Ты чего на меня так смотришь?

Я считала. От первого сентября девяносто седьмого до четырнадцатого мая девяносто девятого — шестьсот двадцать дней.

Если ничего не трогать.

Глава 2. Двести тридцать

Ответила я ему тогда глупо.

— Обозналась, — сказала я.

— Бывает. — Он взял у меня кружку, налил из чайника в будке кипятку до краёв и отдал обратно, ручкой ко мне. Пальцы у него были в мелких белых шрамах.

Кипяток я донесла. Про «Газель» забыла.

Мне было сорок восемь, и я знала, как выглядят мужчины, на которых засматриваются: кривой нос и нашивка через край в этот список не входили. Я засмотрелась. И ещё эта «девочка». Меня двадцать лет звали Ольгой Сергеевной, а девочкой не звали никогда, даже когда я ею была. Я шла по четвёртому ряду с горячей кружкой и придумывала, что ему ответить, если он скажет «девочка» ещё раз. Придумала три ответа, все три тоном главбуха.

* * *

Ленка не разговаривала со мной до среды.

Разговаривала, конечно: «подвинься», «где мой фен», «ты брала мою расчёску?» — но это был бойкот с хозяйственными пометками. Холодильник она выкупила у Зои Михайловны во вторник — за пятнадцать тысяч, без квитанции. Кефир, скисший за сутки в кладовке, она поставила мне на тумбочку как улику.

— Ты зачем с ней вообще разговаривала? — сказала она в среду утром, когда я завязывала кроссовки. — С ней никто не разговаривает. Ей дают — и всё.

— Ей дают, а она пишет в журнал.

— Ну и пусть пишет! — Ленка пристегнула пейджер к поясу и щёлкнула им, как кобурой. — Оль, ты какая-то... Ты раньше вообще ни с кем не спорила. Тебя в столовой обсчитают — ты спасибо скажешь.

Меня и правда обсчитывали — в столовой, в кассе кинотеатра, а потом долго и дома, — и я говорила спасибо.

— Больше не скажу, — сказала я.

— Чего?

— Спасибо. Когда обсчитывают.

Ленка перевела взгляд с меня на кефир, вздохнула и сунула кефир в пакет — выбросить.

— Ты мне за холодильник должна, — сказала она. — Пятнадцать.

— Должна, — сказала я и записала в тетрадь.

Ленка засмеялась первой.

* * *

Игорь подошёл на большой перемене, у столовой.

Столовая у нас была в подвале главного корпуса, и перед ней, на лестнице, всегда толпились: кто курил, кто доедал пирожок, кто списывал. Я стояла с Ленкой и с Танькой Бочаровой из нашей группы. Танька рассказывала, что физрук женился, а я смотрела на лестницу и знала, кто сейчас спустится. Этот разговор в первой моей жизни уже был, и я помнила его дословно: двадцать лет потом прокручивала, с какого места надо было сказать «нет».

Он спустился с двумя ребятами — Серёгой Масловым и ещё одним, с хвостиком, которого я не запомнила ни в той жизни, ни в этой. Кожанка нараспашку, ключи от девятки на пальце. Ключи он крутил всегда, чтобы все видели: от машины, а не от квартиры.

— Оль. — Улыбка. — Привет, девчонки. Оль, можно тебя?

— Можно здесь.

Он чуть сбилсся, но улыбку удержал и ключи крутить не перестал.

— Ну Оль. Ну выручи, а? Займи тридцатку до стипендии. Серёге за кассету отдать надо, горит.

Серёга кивнул. Тот, с хвостиком, жевал.

Тогда, в той жизни, я дала: полезла в кошелёк и отсчитала тридцать из своих тридцати семи — на проезд осталось семь, — а он поцеловал меня в щёку при всех, и Танька Бочарова сказала потом: «Везёт тебе, Крайнова». Я давала ему двадцать два года: сначала до стипендии, потом до зарплаты, потом на машину, на бизнес, на «последний раз, Оль, клянусь», на юриста и на лечение зуба, которое оказалось не лечением зуба.

— Нет, — сказала я.

Игорь улыбнулся шире и подождал, когда я засмеюсь.

— Ну Оль.

Я достала тетрадь и открыла последнюю страницу.

— Четырнадцатое июня, бензин, пятьдесят, — прочитала я. — Двадцать второе июня, кассеты, две штуки, шестьдесят. Третье июля, «Лагуна», сорок. Девятнадцатое июля, Серёге за видак — восемьдесят. — Я подняла глаза на Серёгу. — Это тот же Серёга?

Серёга перестал кивать.

— Итого двести тридцать, — сказала я. — Отдашь двести тридцать — займу тридцать. Из твоих же. Двести ещё останется тебе на бензин.

Тот, с хвостиком, перестал жевать и заржал. Танька Бочарова сказала «ой». Ленка взяла меня под локоть — не то поддержать, не то увести.

— Лапин, — сказал Серёга, — тебя посчитали.

Игорь не покраснел. Этого я тоже не помнила — что он не краснел никогда, ни разу, даже в девятнадцатом году, с телевизором. Он посмотрел на тетрадь, потом на меня, и за улыбкой у него что-то быстро пересчитывалось. Я закрыла тетрадь.

— Ну ты даёшь, Крайнова, — сказал он весело. — Бухгалтерию завела?

— Завела.

— Ладно. — Ключи провернулись на пальце и замерли. — Понял. Ты сегодня не в духе. Я потом зайду.

Он пошёл вверх по лестнице, ребята за ним. На повороте он оглянулся без обиды, по-хозяйски, как на место, где оставил машину.

— Оль, — шёпотом сказала Ленка. — Ты с ума сошла. Это же Лапин. У него девятка.

— У его папы девятка, — сказала я. — И склад.

Танька Бочарова смотрела на меня, и пирожок у неё в руке остывал.

Вечером, когда я вернулась с рынка, Зоя Михайловна сообщила мне с вахты, не поднимая головы, что звонил «молодой человек, вежливый», спрашивал телефон моих родителей, и она ему дала.

* * *

В четверг я посчитала тёткины комбинезоны.

Я не собиралась. Я пришла после третьей пары, тётка ушла обедать к Гульнаре в шестой ряд и оставила мне тетрадку, куда записывала, почём брала и почём продаёт. Тетрадка была толстая, в клеёнчатой обложке, с жирным пятном от чебурека на апреле. Цены в ней были, расходов не было.

Комбинезон детский, зимний, на синтепоне, Москва, Лужники: брала по девяносто пять, продаёт по сто двадцать. Двадцать пять тысяч с вещи. Про эти комбинезоны тётка говорила: «У меня их весь Химпосёлок берёт».

Я взяла с прилавка калькулятор «Ситизен» — у него западала четвёрка, её надо было нажимать дважды — и лист обёрточной бумаги.

Автобус до Москвы и обратно — двести сорок тысяч. Баулы сверх двух — водителю отдельно, а тётка возила шесть. Место — администрации рынка. Охрана — «мальчишкам», по десять тысяч в день. Милиционеру Сан Санычу — «на праздник», а праздники у Сан Саныча случались часто. Я сложила август и разделила на сто сорок вещей, которые тётка привезла, — грубо, по штукам. Вышло по двадцать семь тысяч сверху на каждую.

Девяносто пять и двадцать семь — сто двадцать две. А продавала она комбинезон за сто двадцать.

Она вернулась от Гульнары с кульком семечек и застала меня над бумагой.

— Это чего?

— Это ты, тётъ Валь. На каждом комбинезоне теряешь две тысячи. С августа. Сорок штук продала — восемьдесят тысяч подарила Химпосёлку.

Тётка взяла лист, отставила подальше, потому что очки остались в сумке, и долго смотрела на мои столбики.

— Деньги — бумага, — сказала она наконец, вполголоса, чего я от неё за всю жизнь не слышала.

— Бумага, — согласилась я. — Вот эта.

Она сунула лист в карман жилетки, щёлкнула семечку и посмотрела на комбинезоны, висевшие рядами под потолком контейнера, синие и красные, с капюшонами, — десант перед прыжком.

— А свитера? — спросила она.

— Свитера тебя кормят. И шапки.

— А почём ставить?

— Сто тридцать пять.

— У Гульнары по сто тридцать девять.

— Значит, у тебя дешевле, а продавщица вежливее.

— Какая ещё...

Тётка замолчала. Оглядела меня, потом конец прилавка, где лежали шапки, шарфы и коробка с «головными уборами».

— Ну-ка встань вон туда, — сказала она. — Это теперь твоё. С того, что продашь, — десять процентов. Со всего.

— С выручки нельзя, — сказала я. — С выручки ты на комбинезонах опять в минус уйдёшь. Двадцать процентов с наценки.

— Это больше или меньше?

— Тебе — меньше.

Тётка долго смотрела на меня, как на ценник, в котором подозревают подвох. Потом похлопала себя по карману с моим листом.

— Двадцать с наценки, — сказала она. — И чтоб в тетрадку писала. Как вот тут.

До вечера я продала два комбинезона по сто тридцать пять, четыре шапки, шарф и мохеровый свитер, который тётка считала безнадёжным, потому что он был, по её словам, цвета «бедра испуганной нимфы», а на самом деле просто бежевый. Женщине, которая его купила, я сказала, что он ей к глазам. Это была правда, я проверила.

Я пересчитывала деньги, когда к контейнеру подошёл он.

Обычно вечером ряды обходил Костя. В этот раз пришёл Виктор: молча встал у прилавка и протянул руку. Тётка, не глядя, сунула ему десятку — она как раз ругалась с соседкой из-за картонки, на которую та поставила свои баулы.

Он достал тетрадь — зелёную, школьную, в клетку, такие продавались ещё при Союзе, с таблицей умножения на обложке сзади, — и записал. Я смотрела через прилавок. Дата, номер

контейнера, сумма, в столбик, ровно, через каждые десять строк — черта. Цифры у него были мелкие, с наклоном, семёрки с перечёркнутой ножкой.

На всём рынке записывали двое: я и он. Тётка записывала только цены, Сан Саныч не записывал ничего, торговли держали всё в голове и в лифчике.

— А квитанцию? — сказала я.

Он поднял голову и посмотрел на меня, впервые с понедельника, с кружки и «обозначась».

— Нету, — сказал он.

— Почему?

— Потому что нету.

Он посмотрел на картонку над комбинезонами — я написала цену фломастером, крупно: 135.

— Гульнара завтра тоже сто тридцать пять поставит, — сказал он.

— Значит, послезавтра я поставлю сто тридцать.

— Понял.

Закрыв тетрадь, сунул во внутренний карман куртки и пошёл к следующему контейнеру, а у соседнего оглянулся на мою картонку.

Я сложила тёткины деньги по номиналу, посчитала наценку и отсчитала свои двадцать процентов. Девятнадцать тысяч. Три доллара с мелочью — в двадцать шестом на них не купишь и кофе, а в девяносто седьмом это были макароны до понедельника.

Я записала их в тетрадь, на новой странице, под чертой. Против мая всё ещё было пусто.

* * *

В пятницу вечером Зоя Михайловна крикнула на всю лестницу:

— Крайнова! К телефону! Мать!

Телефон на вахте был серый, дисковый, с трубкой, перемотанной синей изолентой. Зоя Михайловна передала мне трубку и осталась сидеть рядом, с журналом: разговоры она слушала все, это входило в обязанности наравне с отбоем в одиннадцать.

— Оля? Оля, ты слышишь? — сказала мама.

Я взяла трубку обеими руками.

Последний раз я слышала этот голос в двадцать четвёртом году, в реанимации, через маску, и он был совсем другой. А этот был мамин: учительский, поставленный на тридцать человек, с той ноткой, которая значила «я знаю, что ты опять».

— Слышу, мам.

— Ты почему не позвонила, что доехала? Я в воскресенье ждала.

— Забыла.

— Забыла она. — Пауза, в которую мама поправила очки, я это слышала. — Игорь звонил.

Я накрутила провод на палец. Провод был витой, жёсткий, и палец быстро побелел.

— Он очень вежливо разговаривал, Оля. Очень. Сказал, что ты его при ребятах... что ты устроила какой-то счёт. Что он не понимает, чем тебя обидел. Оля, он из хорошей семьи. У него отец на складе, на «Волгахиме». Ты понимаешь, что такое склад сейчас?

Понимала я лучше мамы. Склад на «Волгахиме» в девяносто седьмом — это девятка, дача в Сосновке и через три года условный срок, о котором будет шептаться весь Химпосёлок. Этого я сказать не могла. Мама жила в девяносто седьмом и знала про склад одно: там стабильно.

— Понимаю, мам.

— Ну вот. Ты подумай. В воскресенье приедешь? Папа кран обещал починить, полгода капает.

Я видела этот кран в двадцать четвёртом, когда разбирала квартиру после похорон. Он капал. Папа чинил его всю жизнь.

— Приеду. Мам. Ты давление меряешь?

— Какое давление? — Мама засмеялась. — Мне сорок шесть лет, Оля. Ты там что, медицину сдаёшь?

— Крайнова, — сказала Зоя Михайловна, не отрываясь от журнала. — Тут очередь.

Очередь состояла из Вовки из двести восьмой, который третий вечер подряд ждал звонка из Сызрани и каждый раз, когда звонили не ему, вздыхал на всю вахту.

— Приеду, мам, — сказала я. — Пока.

Трубку я положила не сразу. Подержала ещё, послушала гудки. Зоя Михайловна глянула поверх очков и на этот раз ничего не записала.

* * *

К тётке я поехала прямо с вахты — она звала на картошку.

Четвёрка шла до Заречной сорок минут, последние десять — по частному сектору: заборы, колонки на углах, собаки, которые бежали за трамваем, пока не надоест. Тётин дом стоял третьим от конечной, на Заречной, семнадцать: деревянный, обшитый вагонкой, крашенный в зелёное, с синими ставнями. Ставни тётка красила сама каждую весну, «чтоб глаз радовался», и каждую весну другой синей краской, так что одна ставня вышла почти голубая. Во дворе росла антоновка, яблоки лежали в траве, и никто их не собирал.

В той жизни я была здесь в последний раз тринадцатого ноября, утром. Пахло мокрой гарью, и тётка в чужом пальто ходила по углям и зачем-то искала ключи от дома.

Сейчас пахло жареной картошкой.

— Мой руки, садись! — крикнула тётка из кухни. — Сало будешь? Будешь, ты худая как глиста.

Дверь в заднюю комнату была прикрыта. Я заглянула. Там до потолка стояли тюки: зимний товар, который тётка навезла в августе на весь сезон, — куртки, комбинезоны, пуховики. Сколько их, я в четверг считала по тетрадке: миллионов на двенадцать, две тысячи долларов. Таких денег тётка в руках никогда не держала — она держала их в тюках, и часть была взята в долг, у кого — она не говорила.

В большой комнате, у окна, под фикусом, гудел «Ветерок».

Обогреватель был старый, советский, бежевый, с решёткой, которую тётка протирала мокрой тряпкой «от пыли». Стоял он в двадцати сантиметрах от шторы. Включён был в удлинитель, а удлинитель тётка собрала сама: колодка на три гнезда, провод от старого утюга и синяя изолента там, где провод однажды перетёрся. На улице было пятнадцать градусов, и тётка мёрзла.

«Замыкание в удлинителе», — сказал тогда пожарный и записал это на планшете у себя на коленке. Я потом двадцать девять лет кивала, когда об этом заходил разговор.

Я подошла и выдернула вилку из удлинителя. «Ветерок» вздохнул и замолчал.

Тётка вышла из кухни со сковородкой.

— Ты чего?

— Тётъ Валь, он у тебя на шторе.

— Где на шторе? Он вон где, а штора вон где.

— Двадцать сантиметров.

— Ты линейкой мерила?

— Глазом.

Тётка поставила сковородку на газету посреди стола, подошла, нагнулась, кряхтя, и воткнула вилку обратно. «Ветерок» загудел. От решётки пошло сухое тепло с запахом горелой пыли.

— У меня кости, Олька, — сказала она. — Ты молодая, тебе не понять.

Мне было сорок восемь лет, и у меня тоже были кости. Я промолчала.

Тётка отпихнула обогреватель от шторы ногой — сантиметров на десять — и выпрямилась.

— Довольна? Двадцать лет он у меня горит — и ничего.

— Тогда я тебе новый удлинитель куплю, — сказала я. — Нормальный. С заземлением.

— Купи. — Тётка махнула рукой. — Деньги — бумага. Садись ешь.

Мы ели картошку с салом, и тётка рассказывала про Гульнару, про нового мужа Гульнары, про Сан Саныча, который опять просил на праздник, а праздник был День танкиста. «Ветерок» гудел. Провод от утюга лежал на полу, под шторой, и весь ужин я смотрела на синюю изоленту.

В субботу я купила в хозяйственном у вокзала удлинитель на четыре гнезда, с толстым белым проводом и вилкой с заземлением. Двадцать шесть тысяч — больше, чем я заработала за первый день. Сама воткнула в него «Ветерок», сама отодвинула обогреватель от шторы на полметра и подложила под него кафельную плитку из сарая. Тётка смотрела с порога и говорила, что я вся в отца. Старый удлинитель, с изолентой, я увезла в сумке и выбросила в бак у общаги.

Мне тогда казалось, что всё дело в проводе.

Глава 3. Шесть остановок

В воскресенье я съездила домой, в Химпосёлок.

Ехать было час на сто пятом автобусе, мимо комбината: трубы, бетонный забор на три километра и вывеска «Волгахим — гордость Поволжья», у которой ночью не горела «д», так что выходило «гор ость». Папа встретил меня на остановке, молча взял сумку и молча донёс до подъезда. Ему было сорок девять, у него были все зубы, и он ещё не пил. Пах он машинным маслом и «Примой». Я шла рядом и держала его за рукав, как в детском саду, а он ничего не спросил, только посмотрел сверху и поправил на мне капюшон.

Кран на кухне капал. Папа сказал: «Обойдётся», — и полез под мойку с разводным ключом. Мама за обед три раза сказала «Игорь», один раз «из хорошей семьи» и один раз «ты стала какая-то резкая». Я съела три голубца и попросила четвёртый. В двадцать шестом году я помнила только, что мамины голубцы были, а какие на вкус — нет. Четвёртый я ела медленно, с хлебом.

* * *

В понедельник тётка ушла с рынка в пять — на Заречную должны были привезти уголь — и оставила мне контейнер: ключ, выручку за день в целлофановом пакете, тетрадку и наказ: «Считай, закрывай, ключ — Гульнаре, деньги — мне утром». В первой жизни она ни разу не доверила мне выручку, я у неё была девочка на шапках, и только. Теперь на шнурке рядом с ключом от комнаты висел ключ от сто двенадцатого, и шнурок оттягивал шею.

Рынок закрывался в шесть, а по-настоящему — в семь, когда последние торговки увязывали баулы и ругались с грузчиками. Считала я долго: дважды на «Ситизене», потому что четвёрка западала, и один раз на счётах, которые тётка держала под прилавком «на всякий пожарный». Сошлось, я записала итог и опустила ролету, тяжёлую, с ржавым замком. Пока возилась с замком, ряд опустел.

В сентябре в семь вечера ещё не темно, но уже и не светло. Контейнеры стояли рядами, серые, с номерами краской, в проходах было пусто и гулко. На другом конце ряда кто-то гремел железом, ветер гонял по земле целлофан.

Ключ я отдала Гульнаре — та ещё курила у своего контейнера и сказала: «Валька тебя хвалит, смотри не зазнайся», — и пошла к воротам.

В будке горел свет. Виктор стоял на пороге.

— Провожу, — сказал он.

— Я сама.

— С выручкой через пустырь? — Он посмотрел на мою сумку: пакет с тёткиным днём лежал сверху. — Не сама.

Он сказал Рафику, который сидел внутри над кроссвордом: «Через полтора», — прикрыл за собой дверь будки и подёргал её, проверяя замок. Мы пошли.

Он держался сзади, в трёх шагах. Я свернула к пустырю, где за гаражами была остановка, — он свернул. Я остановилась перевесить сумку на другое плечо — он остановился и стал разглядывать гаражи.

Через десять лет на этом пустыре построят торговый центр с фонтаном, а пока здесь были гаражи, бурьян в человеческий рост и тропинка, на которой в девяносто восьмом ограбят Таньку Бочарову. Другой дороги к остановке не было, и я шла по тропинке, слушая за спиной его шаги.

В первой жизни он предложил проводить меня в октябре, а сейчас было восьмое сентября. Я посчитала, откуда взялся лишний месяц: тогда мне не доверяли выручку, и я уходила

с рынка засветло. Один лист оберточной бумаги с комбинезонами — и он идёт сзади на месяц раньше. Что я ещё сдвинула, не заметив, додумать я не успела: показалась остановка.

На остановке никого не было. Он встал у одного столба, я у другого.

Трамвай пришёл через двенадцать минут по маминым часам «Чайка» на тонком ремешке. Четвёрка, полупустая, с жёлтым светом. Он пропустил меня вперёд, вошёл следом, дождался, пока закроются обе створки, до щелчка, и только тогда сел напротив, через проход.

Кондукторша спала на своём месте у задней двери, подперев щеку кулаком. Мы её не будили.

— Ты чего молчишь? — сказала я на второй остановке.

— Ты тоже.

— Я считаю.

Он посмотрел на меня — впервые за дорогу прямо.

— Что?

— Остановки.

— Шесть, — сказал он. — До общаги.

Где я живу, я ему не говорила ни в этой жизни, ни в той.

— Откуда ты знаешь, где я живу?

Он пожал плечами и стал смотреть в окно. За окном проплыла «Волжанка», потом сквер с памятником, потом тёмный ДК с афишей видеосалона.

Сидишь напротив человека, которому двадцать шесть, и знаешь про него самое главное — число, час и сорок строк в газете, — а как он пьёт чай, не знаешь. Пьёт он, выходит, из крышки от термоса, без сахара. Замечает всё, что шевелится. Садится, только когда закрыта дверь. И знает, где я живу.

На четвёртой остановке вошли двое парней с пивом, громкие. Он не шевельнулся, только перестал смотреть в окно и стал смотреть на них. Парни сели в самом конце вагона и заговорили тише.

На шестой я встала. Он встал.

— Тут два шага, — сказала я.

— Триста метров.

Он прошёл их сзади, по скверу с разбитыми фонарями. У крыльца я обернулась. Он стоял у нижней ступеньки.

— Спасибо, — сказала я.

— Завтра так же.

— Я не просила.

— Не просила, — согласился он. — Спокойной ночи, девочка.

Один из трёх ответов на «девочку» был у меня готов с понедельника. Я открыла рот, а он уже развернулся и пошёл обратно к трамваю. Я вошла и встала за стеклянной дверью. На углу он остановился и обернулся — проверил, что я вошла. Я отступила от стекла.

Зоя Михайловна записала в журнал: «Крайнова — 20.35» — и подняла на меня глаза.

— Это кто тебя провожал?

— Охрана, — сказала я.

Она подумала и дописала что-то ещё.

* * *

Во вторник было так же: три шага сзади, шесть остановок. На второй он спросил, есть ли у меня перчатки. Я сказала, что сентябрь. Он сказал: «Пока». На этом разговор кончился.

Про долг я узнала в среду, и не от него.

Костя пришёл к контейнеру за тёткиной десяткой и задержался: тётка угостила его пирожком с капустой, а Костя от пирожка не уходил, не рассказав анекдота.

— Тётъ Валь, — сказал он с полным ртом, — знаешь, чем охранник от бандита отличается?

— Ну?

— Бандит на «мерсе» едет, а охранник за ним бежит. И ещё приплачивает, что бежит.

Тётка засмеялась. Костя тоже — легко, всем лицом, и уши у него от смеха ходили вверх. Потом он достал из нагрудного кармана фотографию и показал тётке: дочка, два года, в шапке с ушами, на санках. Тётка сказала «ой, пупсик», а я отвернулась к шапкам и стала перекладывать их из одной стопки в другую.

Нюське было два. В девяносто девятом ей будет четыре, и на похоронах её не будет: Света оставит её у соседки. Это я знала от тётки — тётка на похоронах была, а я в тот день сидела дома и вешала зелёные шторы.

Когда Костя ушёл, я спросила:

— Почему приплачивает?

— А. — Тётка махнула рукой. — Кредит торбеевский. Ты не знаешь, что ли? Геннадий Палыч им и лицензию сделал, и оружие, и будку эту — всё в долг. Под проценты. Они с контейнеров собирают, а ему — в счёт долга. Витька, говорят, у него как телок на верёвке. А мальчишки хорошие.

В первой жизни я не знала про него ничего, кроме куртки, «понял» и заметки на сорок строк. А тут был долг, а у долга есть срок. Я вспомнила зелёную тетрадку с перечёркнутыми семёрками, подумала, что где-то там есть и его страница, и положила шапку не в ту стопку.

— Тётъ Валь, — сказала я. — А много?

— Чего?

— Долга.

Тётка перестала жевать.

— Олька, — сказала она. — Ты это. В чужие деньги не лезь. В свои лезь. Это я тебе как торговка говорю, а не как тётка.

* * *

В четверг он купил мне пирожок.

Мы шли от ворот к пустырю, он сзади, я впереди, и у ларька на углу, где жарили беляши и пирожки с ливером, он вдруг обогнал меня, сказал продавщице «два с картошкой», расплатился и протянул мне один, в промасленной бумажке.

— Я не голодная.

— Ешь.

Людочке я сказала бы «я не голодная» тем самым тоном, и Людочка бы отстала. Он стоял и держал пирожок, пока по бумажке не поползло масляное пятно.

— Ты не обедала, — сказал он.

Я не обедала со вторника, потому что откладывала. В тетради у меня появилась графа «\$», и в ней стояло «20», а рядом — «к концу месяца». Двадцать долларов — это сто семнадцать тысяч, неделя у тётки. Купить их я собиралась в «Элите» у вокзала, как все, у кого оставались лишние деньги, а лишних у меня не было, поэтому обеда не было тоже.

Откуда он узнал, я спрашивать не стала и взяла пирожок. Он был горячий, с картошкой и жареным луком, снизу подгорел, и тесто прилипло к бумажке. Я съела его вместе с половиной бумажки.

Он съел свой в три укуса, смял обёртку, сунул в карман и отстал на свои три шага.

* * *

Торбеев пришёл в пятницу, в двенадцать.

Я как раз стояла у будки с тёткиной кружкой. Виктор наливал кипяток из чайника — молча, до краёв, как теперь каждый день, — когда к воротам подъехала тёмно-синяя «Ауди» с тонированными стёклами. Из неё вышел сначала парень с кожаной папкой, коротко стриженный, с шеей шире головы, а потом он.

Я знала его по портрету. В две тысячи четырнадцатом «Устьянский вестник» дал разворот: «Почётный гражданин», фотография на фоне труб «Волгахима», белая рубашка, улыбка. Комбинат к тому времени был его лет пятнадцать, а папа три года как лежал на кладбище в Химпосёлке. Этот разворот я не вырезала.

Сейчас ему было сорок пять. Серый костюм из настоящей шерсти — турецких я с понедельника видела сотни и отличала с пяти метров, — галстук и ботинки, которые на рыночной пыли оставались чистыми. Веки у него были припухшие, сонные, и от этого взгляд казался добрым.

— Витя, — сказал он, подходя к будке. — Как спишь?

— Нормально.

— А по глазам — нет. — Торбеев улыбнулся и похлопал его по плечу, два раза. — Береги себя. Ты мне нужен.

Виктор не шевельнулся. Чайник у него в руке не дрогнул, только носик теперь смотрел Торбееву в ботинок. Торбеев посмотрел на носик, потом Виктору в лицо, улыбнулся ещё раз и пошёл в ряды. Меня, с кружкой, он не заметил.

Я ушла в четвёртый ряд коротким путём, мимо туалетов, и кипяток плескал мне на пальцы.

Торбеева было слышно раньше, чем видно: голоса он не повышал, зато перед ним по рядам шла тишина. Торговки переставали кричать «женщина, примерять будем» и поправляли товар на плечиках. Гульнара в шестом ряду спрятала под прилавок сигарету.

— Гульнара Рашидовна, как мама? — сказал он у шестого ряда, негромко. — Прошла нога?

— Прошла, Геннадий Палыч, спасибо, Геннадий Палыч.

— Сан Саныч, как служба?

Сан Саныч, который как раз зашёл к Гульнаре за своим «праздником», выпрямился и поправил фуражку.

В том развороте было написано: «Геннадий Павлович помнит по имени каждого из трёх тысяч работников комбината». В двадцать шестом году я приняла это за газетное враньё. Сейчас он шёл по шестому ряду и называл всех по имени-отчеству.

У сто двенадцатого он остановился.

— Валентина Ивановна. — Он улыбнулся. — Как товар пошёл?

— Да потихоньку, Геннадий Палыч, — сказала тётка не своим голосом, тихим, почти как у него. — Комбинезоны вот подняла.

— Видел. Сто тридцать пять. — Цифру он выговорил, как свою. — Правильно подняли.

Он смотрел на прилавок. На прилавке лежала тёткина тетрадка, открытая на моём развороте. С понедельника я вела её по-своему, в три графы — приход, расход, остаток — и в конце каждого дня подводила черту двумя линиями. Тетрадка лежала к нему вверх ногами, но он читал: глаза шли по строчкам сверху вниз и остановились на черте.

Потом он поднял глаза на меня.

— А это у нас кто?

— Племянница, — сказала тётка. — Оля. Сергея дочка.

— Сергея Ивановича? С наладки? — Он кивнул, вспомнив что-то приятное. — Знаю. Хороший мастер.

Он постучал пальцем по тетрадке — по двум моим чертам.

— Валя, — сказал он, и тётка перестала быть Валентиной Ивановной, — племянница у тебя способная. Пусть зайдёт.

Глава 4. Не горит

— Зовёт — иди, — сказала тётка в понедельник, ещё не открыв ролету. — Геннадий Палыч два раза не зовёт.

— А если не пойду?

— Тогда он придёт сам. — Она подёргала замок. — Оля, ну что ты как маленькая. Он с тобой поговорит, пять минут, конфету даст. Он всем конфету даёт.

В двадцать шестом году я сидела напротив налоговой и напротив хозяина «Витамеда», который любил увольнять по пятницам, чтобы люди думали на выходных, и с каждым из них разговаривала ровно, потому что у меня была печать, подпись и папка, в которой всё сходилось. Здесь у меня была тетрадка с котёнком.

Я пошла.

Администрация рынка сидела в двухэтажном домике из белого кирпича сразу за воротами. На первом этаже была касса: окошко с решёткой, перед ним очередь торгов с деньгами в кулаках — платили за место, за октябрь, вперёд. Две женщины за окошком считали на калькуляторах, писали в амбарную книгу и выдавали квитанции. На бланке в руках у Гульнary прочла: ООО «Северный-Т», штамп синий, подпись — закорючка.

На втором этаже был коридор с линолеумом и три двери: «Бухгалтерия», «Юрист» — без ручки — и «Директор». Перед «Директором» сидела секретарша с перманентом, ела печенье и смотрела маленький телевизор, где без звука шла «Санта-Барбара».

— Вы к Геннадию Павловичу? Крайнова? Проходите, он ждёт.

Кабинет был большой, с тёмной мебелью и окном на ряды. Из окна было видно всё: ворота, будку, четвёртый ряд, тёткин контейнер с картонкой «135». На столе стоял факс «Панасоник», лежал ежедневник, «Паркер» поверх ежедневника и тонкая картонная папка с завязками. На папке фломастером было написано: «Заречная».

— Оля. Садись. Чай будешь? Алла, два чая.

— Спасибо, не надо.

— Алла, один чай.

Он сел не за стол, а сбоку, в кресло, так что между нами остался только угол стола — как между своими.

— Как папа? Сергей Иванович. Зарплату дают?

— Задерживают.

— Всем задерживают. — Он покачал головой. — Комбинат стоит, а люди ходят. Хороший мастер, папа твой. Я его помню по восемьдесят девятому, он мне на даче насос чинил. Ни копейки не взял. — Он помолчал. — Такие люди пропадают первыми.

Я молчала. На тот разворот про почётного гражданина я в своё время не смотрела и минуты, а теперь он сидел в метре от меня, пил чай, который принесла Алла, и говорил про моего папу.

— Валя мне тетрадку показывала. — Он поставил стакан. — Ты её за неделю в порядок привела. У меня касса второй год в порядок привести не может. Девочки там хорошие, но они считают так, что я каждый месяц чего-то недосчитываюсь. Я не говорю, что воруют. Я говорю — считают.

— Это разные вещи, — сказала я.

— Вот. Я и говорю. — Он улыбнулся. — Три часа в день, после института. Сидишь в кассе, сверяешь, в конце месяца — сводишь. Триста.

«Триста» у него прозвучало как «три», и я перевела машинально: триста тысяч, пятьдесят долларов, две с половиной стипендии. В девяносто седьмом году за такие деньги третьекурсница должна была сказать «да» раньше, чем он договорит.

— Официально? — спросила я. — По трудовой?

Он засмеялся, негромко, с удовольствием.

— Оля. Мы же свои люди.

Эту фразу я двадцать лет слышала от тех, кто не хотел показывать первичку: от поставщика, у которого на складе было на миллион меньше, чем в накладных, и от Игоря — чаще всех.

— Я вас услышала, Геннадий Павлович, — сказала я.

Стало тихо. Из-за двери слышно было, как Алла хрустит печеньем. Улыбка с него никуда не делась, но теперь он меня разглядывал.

— Услышала, — повторил он. — Хорошо.

Папка лежала ко мне вверх ногами, а читать вверх ногами я умею, этому не разучиваются. Она была приоткрыта, и на первом листе стоял столбик: номера домов и против каждого — слово, сокращённо. «9 — дог.», «11 — дог.», «13 — куп.», «15 — куп.». Против семнадцатого стояло «Крайнова В. И.» и знак вопроса. Против девятнадцатого — опять «куп.».

Он проследил мой взгляд, не торопясь взял папку и убрал в ящик стола.

— Подумай, — сказал он. — Предложение не горит.

Я подумала про дом на Заречной и ничего не ответила.

— Отцу привет. Сергею Ивановичу.

На лестнице я остановилась, достала тетрадь и записала, пока помнила: 9 — дог., 11 — дог., 13 — куп., 15 — куп., 17 — ?, 19 — куп. Шесть домов на одной стороне улицы. Про «дог.» и «куп.» я могла только гадать, а про вопросительный знак — нет: в любом столбике его ставят против того, кто ещё не ответил. Я подчеркнула семнадцатый и спрятала тетрадь.

* * *

— Что предлагал? — спросил он на второй остановке.

Окно кабинета выходило на ворота, а будка стояла у ворот: он видел, как я вошла и как вышла.

— Работу.

— Нет.

— Я тебя не спрашивала.

— Я на всякий случай.

Трамвай тряхнуло на стрелке, кондукторша проснулась, посмотрела на нас и снова заснула.

— Он говорит — мы свои люди, — сказала я.

— Он и налоговой так говорит.

Он отвернулся к окну сразу, как сказал, чтобы не видеть, смеюсь я или нет. Я не засмелась, а спросила:

— А тебе он что говорил? Когда давал деньги.

Он не повернулся.

— Это не твоё.

— Знаю.

— Тогда зачем спрашиваешь.

— На всякий случай.

Тут он повернулся и посмотрел на меня: парни с пивом в этот раз не вошли, и смотреть больше было не на кого.

— Девочка, — сказал он. — Не лезь.

Один из трёх ответов был у меня готов. Я сказала его:

— Меня зовут Ольга.

— Знаю, — сказал он. И добавил, уже на шестой остановке, когда вставал: — Ольга Сергеевна.

Он сказал это без издёвки, как говорил «понял».

* * *

Во вторник на вахте я ждала телефона — звонила маме, как обещала, — и от нечего делать читала «Устьянский вестник», который Зоя Михайловна подкладывала под чайник. Газета была четверговая, мятая, с кругом от чайника на программе телевидения. Читала я объявления, потому что объявления — это цены, а цены я читаю всегда, где ни увижу.

«Куплю ваучеры». «Продам „Москвич-2141“, 94 г., не бит». «Срочно требуются реализаторы, оплата ежедневно». «Дипломы, курсовые». «ООО „Северный-Т“ приобретает дома и земельные участки по ул. Заречная, Прибрежная, Затон. Дорого. Расчёт сразу. Тел. 3-41-18».

Я посмотрела на телефон. Три-сорок один-восемнадцать стояло на тёткиной квитанции за место: я видела номер в понедельник, в кассе, на бланке у Гульнары.

Заречная, Прибрежная, Затон — это конечная четвёрки, три улицы, которые упирались в берег. За берегом в девяносто седьмом ещё был старый грузовой причал, куда раз в неделю приходила баржа с Нижнего: тётка возила оттуда ящики, когда не успевала на «Икарус». А склад у рынка был чужой, арендованный у «Волгахима», и за него платили каждый месяц.

Двадцать домов у причала — это свой склад. Дальше я считать не стала, хватало папки в ящике стола: «дог.» — договор, «куп.» — куплен, знак вопроса — тётя Валя.

— Крайнова, ты звонить будешь или газету читать? — сказала Зоя Михайловна.

Я позвонила. Мама сказала, что папа опять ушёл к Петровичу, что зарплату обещают к октябрю и что Игорь звонил, очень вежливо. Я сказала «хорошо, мам» три раза.

Газету я забрала с собой. Зоя Михайловна посмотрела на это, но ничего не сказала: под чайник у неё были ещё.

* * *

В субботу к вечеру у тётки кончились комбинезоны. Все сорок. По сто тридцать — я снизила в субботу, после того как Гульнара в пятницу и правда поставила сто тридцать пять, — и к субботе Химпосёлок разобрал последние три. Тётка ходила по контейнеру и трогала пустые плечики.

— Это что ж, ехать надо, — сказала она. — Я на октябрь думала. А ехать в четверг.

— Езжай.

— А деньги?

Я показала ей тетрадку. Она посмотрела на остаток под чертой, потом на меня, потом вытащила из-под жилетки, из кармана, пришитого изнутри, резинку с деньгами и положила на прилавок.

— Считай.

Считала я долго, потому что в резинке было вперемешку: пятидесятитысячные, десятки, пятёрки, тысячные и даже сотенные, бумажные, которые уже никто не брал. Я сложила по номиналу. Три миллиона двести, пятьсот сорок долларов — два баула комбинезонов и один свитер, с учётом «Икаруса» и водителя за баулы.

— Хватит, — сказала я. — На два с половиной баула.

— Два с половиной не бывает.

— Тогда три. Но тогда в «Элите» двести долларов возьми сегодня, пока он пять девятьсот. В четверг будет дороже.

— С чего это?

— С того, что всегда дороже.

Будущее я тут не подглядывала: девяносто седьмой год я помнила хуже дефолта, но помнила — курс полз всегда, по десять-двадцать рублей в день, и те, кто ездил в Москву, меняли в день, когда получали деньги, а не в день, когда ехали. Тётка меняла по принципу «успеется».

— Успеется, — сказала она.

— Тётъ Валь.

— Ну что «тётъ Валь». — Она стала сматывать резинку. — Ладно. Сто. Сто поменяю. Ты у меня прямо как ревизор.

Я записала «сто долларов» в тетрадь, под остаток, и поставила дату.

— Да, — сказала тётка, — чуть не забыла. Ходил тут человек. От Геннадия Палыча.

Я не подняла головы.

— Какой человек?

— Да этот, с шеей. Который с папкой. Спрашивал, не продам ли дом.

— Когда?

— В среду. Я говорю: ты с ума сошёл, я там тридцать лет живу, у меня там антоновка. Он говорит: Геннадий Палыч хорошо даст. Я говорю: передай Геннадий Палычу, что у меня не продаётся. — Тётка засмеялась. — Он ещё в августе приходил, этот же. Я его и в августе послала.

В первой жизни тётка рассказывала это тринадцатого ноября, на пепелище, в чужом пальто, со смехом, всем, кто пришёл посмотреть: «А ведь в августе ходили, покупать хотели. Вот бы продала — и горело бы чужое». Все тогда посмеялись, и я тоже.

— Тётъ Валь, — сказала я. — А что он сказал, когда ты его послала? В среду.

Тётка подумала.

— Ничего. Сказал «понял». И ушёл.

Глава 5. Двадцать долларов

— Крайнова, вы меня удивляете.

Пронин сказал это, не поднимая головы от журнала. Журнал был групповой, с пропусками, и против моей фамилии стояло шесть букв «н» подряд — вся прошлая неделя по методике и два матана.

Кабинет декана я помнила с другого конца. В девяносто девятом я сидела на этом же стуле с продавленным сиденьем, и Пронин говорил мне из-за этого же стола: «Оля, место в аспирантуре у Галины Фёдоровны — ваше, вам надо только прийти в сентябре». В сентябре девяносто девятого я уже сидела в учёте на складе у Игорёва отца, потому что Игорю нужны были деньги на «дело», а аспирантская стипендия была сто восемьдесят рублей новыми. Жалела я об этом лет десять, потом перестала.

— Борис Наумович, — сказала я, — давайте по порядку. Хвост по методике я закрою к пятнице. Пропуски по матану отработаю у Савельева, он разрешает. Это всё?

Пронин поднял голову.

Ему было пятьдесят пять, он носил один и тот же пиджак с замшевыми заплатками на локтях и курил «Беломор» с шестнадцати лет — от этого и умер в две тысячи девятом. Хорошить его нас пришлось много, больше, чем Галину Фёдоровну.

— Это всё? — переспросил он. — Крайнова, вы сейчас со мной разговаривали как завуч с молодым специалистом. Вы это заметили?

— Заметила.

— Хорошо. — Он снял очки. — Тогда ещё один вопрос, и можете идти. Вы в аспирантуру собираетесь?

— Нет.

— Вы это решили сейчас?

— Давно.

— Что?

— Давно, — повторила я. — Ещё летом.

Он долго смотрел на меня поверх снятых очков, потом надел их обратно.

— У вас было лучшее место на курсе, — сказал он. — Я это говорю не чтобы вас уговорить. Я это говорю, чтобы вы знали, что я это знаю. Идите. К пятнице.

Я пошла к двери. У двери он сказал:

— Крайнова. Валентина Ивановна — ваша тётя? С рынка?

— Да.

— Передайте ей, что свитер, который она продала моей жене, сел после первой стирки.

— Передам. — Я взялась за ручку. — Ангора не садится, Борис Наумович. Ангору стирают в холодной. Если стирать в горячей — это уже не к тёте.

Он не ответил. Я вышла и уже в коридоре, за закрытой дверью, услышала, как он смеётся.

* * *

Хвост я закрыла в четверг. Методику я знала лучше Галины Фёдоровны: двадцать лет я учила людей заполнять формы, которые они заполнять не хотели, а это и есть методика. Галина Фёдоровна поставила «хорошо» и спросила, почему я пропускала. Я сказала — работала. «Все теперь работают», — сказала она и вздохнула над зачёткой.

В пятницу утром я пересчитала тетрадь. Сто девятнадцать тысяч: три недели у тётки, минус Ленкины пятнадцать, которые я отдала, минус удлинитель, минус макароны. С девятого сентября я не обедала. Ленка заметила это на первой же неделе, сказала «ты худеешь, что ли,

к зиме» и стала оставлять мне в холодильнике половину того, что присылали из дома. Я ела и записывала: «Ленке — половина сырников». Ленка смеялась и говорила, что сырники в валюту не переводятся.

«Элит» стоял у вокзала, там же, где в двадцать шестом году будет стоять обменник, только с другим названием и с курсом на табло. Здесь курс был написан фломастером на листе бумаги, приклеенном к стеклу изнутри: «Покупка 5870. Продажа 5920». Будка была железная, с окошком на уровне груди и амбразурой для денег. У будки курил охранник в чёрном и оглядывал вокзальную площадь, как хозяин.

Передо мной женщина с двумя сумками меняла триста долларов на рубли. Она пересчитала пачку дважды, одну бумажку посмотрела на свет и ушла. За ней мужчина в кожанке купил пятьсот и не пересчитывал.

Я просунула в амбразуру сто восемнадцать тысяч четыреста. Купюры лежали по номиналу, лицом вверх, разглаженные ещё в трамвае. Женщина за стеклом посмотрела на пачку, потом на меня. Три недели никто не понимал, что я делаю. Эта поняла, и ей понравилось.

Назад в амбразуру легла одна двадцатка — зелёная, старого образца, с маленьким портретом в овале, чуть мятая, её уже кто-то держал. Я посмотрела её на свет, как та женщина с сумками, и ничего не увидела: что там надо видеть, я не знала. Положила её в тетрадь, под обложку, рядом с листом, где против мая было пусто.

Семнадцатого августа следующего года эти двадцать долларов будут стоить сто двадцать тысяч, к сентябрю — триста. Эту дату я помнила лучше сегодняшней. Только чтобы к сентябрю стало много, нужно, чтобы сейчас было хоть что-то, а у меня были стипендия и тётка. Капитала из двадцатки не выйдет, выйдет привычка — на три года раньше, чем в первый раз. В первый раз я начала покупать доллары в двухтысячном, и Игорь называл их «бабские панические деньги». В две тысячи девятнадцатом он их нашёл.

* * *

Таксофон стоял у ворот рынка, между ларьком с кассетами и ларьком с пивом. На нём было написано мелом «не работает», но мел был с прошлого года, а аппарат работал. Жетоны продавали в ларьке с кассетами, по полторы тысячи.

Я купила два, хотя шла мимо: от трамвая к тётке, с двадцаткой под обложкой и с готовой фразой «меняй сегодня», на которую тётка скажет «успеется», и мы поругаемся, как в среду и в четверг. А потом увидела таксофон, и рука сама пошла в карман за деньгами.

Номер я набрала тот, который набирала чаще всего: бухгалтерию «Витамеда». Свой я никогда не набирала, зачем. Восемь, девятьсот семнадцать, и дальше семь цифр, которые я знала лучше даты своего рождения. Диск крутился долго, восьмёрка — самая длинная.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.